

83.3 (2Рос=Р/к) I

№ 83

ТР

Л.ВЛЬВОВ / РОГАЧЕВСКИЙ



ОТ УСАДЬБЫ К ИЗБЕ



(Л.Н.ТОЛСТОЙ)



1 · 9 · 2 · 8

• Ф Е Д Е Р А Ц И Я •

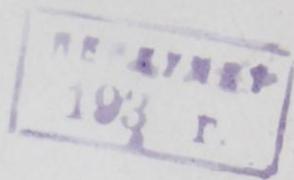
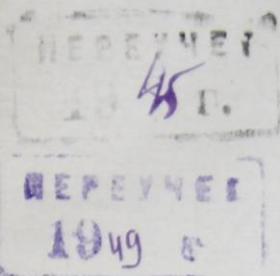


к
66
83.3 (2Рос=РУС) № 51-89

189

В. Л. ЛЬВОВ-РОГАЧЕВСКИЙ

8Р4



ОТ УСАДЬБЫ К ИЗБЕ

ЛЕВ ТОЛСТОЙ

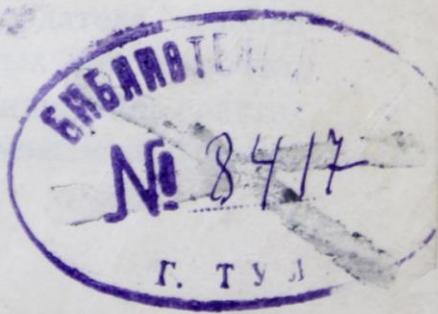
1828 — 1928

ПРОВЕРЕНО
1967 г.

16504 9439-1-78
Л 173269 - 1-78



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ФЕДЕРАЦИЯ»
МОСКВА



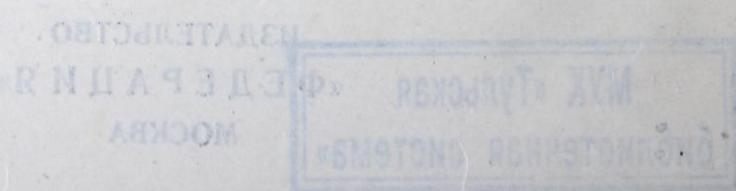
62

Б. А. ЯПОВ-ПОЛЯРЕВСКИЙ

О Т В А Д П Е П И К Н Ы Е

Я О Т С Л О Т А Б

„Мосполиграф“ 14-я типография.
Варгунихина гора, 8.
Главл. № А 17993. Тираж 3.000.
Зак. 1752 Фосп. № 139.



ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

В письме к Н. Н. Страхову Ф. М. Достоевский, выходец из разночинной среды, говорит о творчестве И. С. Тургенева, Льва Толстого и других писателей из «дворянских гнезд»: «А знаете, ведь это все помещичья литература. Она сказала все, что имела сказать (великолепно у Льва Толстого). Но это в высшей степени помещичье слово было последним. Нового слова, заменяющего помещичье, не было да и некогда...»

Это писалось в 1871 году... Но с тех пор до смерти Льва Толстого прошло 39 лет; автор «Исповеди», «Власти тьмы», «Воскресения»—пережил период ломки, внутреннего переворота, прошел длинный и трудный путь, перестроил свои эстетические взгляды, перестроил идеологию, перестроил свой «благородный слог» и попытался заменить свое «в высшей степени помещичье слово» словом «мужицким». Этого не мог видеть Ф. М. Достоевский в 71 году, он не мог почувствовать всего драматизма этой борьбы, оценить всего значения ее.

Родовитейший аристократ-землевладелец, кровно связанный с графами Толстыми, князьями Волконскими, из среды которых вышел декабрист С. Г. Волконский, с князьями Трубецкими, Горчаковыми, с Чаадаевыми, Лев Толстой более чем А. С. Пушкин был в праве гордиться своим шестисотлетним дворянством... Родословная создателя эпопеи «Война и мир» связана с именами родовитых аристократов, бывших в оппозиции ко двору и новой придворной аристократии, в оппозиции к временщикам и вельможам «в случае»,

всевозможным «припадочным людям», получавшим за свое угодничество высочайшие милости и подачки... Дед Н. С. Волконский—строитель яснополянской усадьбы и красивого дома с колоннами, к которому вел величественный «прешпект» от двух белых башен при въезде, жил с 1799 года у себя в поместье вольнодумцем, затворником.

При Павле Н. С. Волконский был отставлен от службы и выслан в Ясную, а затем приказом от 1798 года 27 декабря был назначен из Петербурга воеводой в Архангельск. Оттуда, по получении отставки по его просьбе, вернулся в 1799 г. в свою Ясную Поляну, затворился у себя в кабинете, читал своих любимых классиков XVIII века, вел медуары и сурово воспитывал свою дочь. Он стоял в стороне от жизни новой придворной аристократии.

Отец Льва Николаевича уже после 1812 года бросает военную службу, разочаровавшись в войне. «Как большая часть людей Александровского времени, переживших походы 13, 14 и 15 годов, он был не то, что мы теперь называем либералом,—говорится в «Воспоминаниях детства» Толстого,—просто по чувству собственного достоинства не считал для себя возможным служить при конце царствования Александра I, ни при Николае I. Он не только не служил нигде, но даже все его друзья были такие же люди, свободные, неслужившие и даже немного фронтирующие правительство Николая Павловича».

Отец продолжал дело Н. С. Волконского и вел его крепостное хозяйство. От этого родовитого, неслужилого, непридворного аристократа, помещика-землевладельца и Марии Николаевны Волконской, унаследовавшей родовое имение Волконских, родился Л. Н. Толстой.

И вот этот аристократ по рождению и воспитанию, подобно А. С. Пушкину,—«родов униженных обломок», становится гениальным разоблачителем сперва придворного круга, новой знати, чиновничьего «служилого дворянства», гвардейщины и аристократиков офицерства, а затем и всего дворянства.

После тяжкой борьбы с самим собой, после длительного «обдумывания самого себя», после глубочайшего самоанализа, после убийственной самокритики и критики, направленной

против сословных традиций, он разрывает с той почвой, на которой вырос. Он не устает повторять: «Карфаген должен быть разрушен». Он становится отщепенцем своего класса, но не идет, подобно «лишним людям», Онегину, Чацкому и другим «бесприютным скитальцам», «искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок». Он пытается от усадебного мира с его ясной поляной притти к мужицкому миру с его черной избой, он пытается пустить корни в почву.

В этом его огромное отличие от «лишних людей», от «передовых людей» из дворянского сословия, от деклассированных дворян, попавших в шумные столицы, где «гремят витии».

В материалах к роману «Бесы» у Ф. М. Достоевского Шатов, сын крепостного лакея Пашки, говорит о Чацком: «Он кричит: «карету мне, карету»—в негодовании, потому что не в состоянии и сам догадаться, что можно ведь и иначе проводить время, хотя бы и в Москве тогдашней, чем к перу от карт и к картам от пера». Он был барин и помещик, и для него, кроме своего кружка, ничего и не существовало. Вот он и приходит в такое отчаяние от московской жизни высшего круга, точно кроме этой жизни в России и нет ничего. Народ русский он проглядел¹, как и все наши передовые люди, и тем более проглядел, чем более он передовой. Чем больше барин и передовой, тем более и ненависти—не к порядкам русским, а к народу русскому. О народе русском, об его вере, истории, обычаях, значении, громадном его количестве—он думал только как об оброчной статье» (стр. 606 т. VIII полн. собр. соч. Достоевского юбилейное изд.).

И. С. Тургенев говорил не раз о Льве Толстом, что он «истерически льнет к народу, как беременная женщина». И создатель Каратаева отнюдь не проглядел народ, а наоборот, обоговорил его: народ мог бы сказать Льву Толстому то же, что говорила Катюша Маслова Нехлюдову: «Ты мною спастись хочешь».

От московской жизни высшего круга он хотел уйти к простым землеробам, в черноземные поля с их «вековой тиши-

¹ Курсив наш.—В. Л.-Р.

ной». Если Тургенев бросился в «немецкое море» западно-европейской культуры, то Лев Толстой бросился в мужицкое море примитивно-патриархального крестьянства-христианства, близкого к природе. В работе на мужицкой земле он ищет исцеленья от беспочвенности. Но это происходит не сразу, а через мучительную внутреннюю борьбу индивидуального с классовым, благоприобретенного с родовым.

В «помещичьем слове» обнаружилась трещина, помещичье слово раскололось... Выходец из барской усадьбы пошел не за интеллигентом-скитальцем, а за мужиком-страником, «взыскиющим вышнего града».

Ф. Достоевский, так прекрасно понявший и оценивший мировое значение пушкинского гения, прошел мимо трагедии Льва Толстого, мимо коренной ломки и переворота в том мировоззрении, которое было унаследовано Львом Толстым от предков, от «старого барства», от исконных землевладельцев-аристократов. А между тем Л. Толстой продолжал и доводил до конца работу своих предшественников.

Начало этого переворота переживала родовитая аристократия еще во времена Пушкина и Лермонтова, но он обострился к 50—60-м годам, после падения Севастополя и, в особенности, в эпоху так называемых «великих реформ», когда у помещиков не стало «рабов», даровой рабочей силы.

Уже в 30-е годы А. Пушкин неоднократно рассказывал в «Повестях Белкина» и в «Родословной моего героя», и в «Медном Всаднике», и в «Отрывке из романа в письмах»—о том, как дробилась и беднела поместьями родовитая аристократия, потомки бояр, потомки тех прежних удельных князей, «рюриковичей», которые когда-то владели богатыми вотчинами, рассказывал о том, как гордые бояре превращались по своему быту и образу жизни в «смиренных» мещан. Князь З., гвардейский блестящий офицер, задумавши осесть в деревне, на землю в своем саратовском имени, заботящийся о благосостоянии своих крестьян, пишет своему другу в неоконченном произведении Пушкина «Отрывок из романа в письмах»: «Мы проживаем в долг наши будущие доходы и разоряемся. Старость нас застает в нужде и хлопотах. Вот причины быстрого упадка нашего дворянства: дед был богат, сын—нуждается, внук—идет под гору, по

миру. Древние фамилии приходят в нищенство, новые—поднимаются и в третьем поколении исчезают опять. К чему ведет такой политический материализм? Не знаю, но пора положить этому преграды» (Пушкин, т. IV, изд. Брокгауза и Эфрана, стр. 138).

М. Лермонтов еще острее, мучительнее, чем Пушкин, переживал с детских лет обнищание и уничтожение старинных аристократических, но захудальных родов, каким был и род Лермонтовых. Он болезненно ощущал высокомерное барское отношение своей богатой бабушки Арсеньевой, урожденной Столыпиной, к своему отцу и выражал это в своих юношеских трагедиях и в неоконченном романе «Вадим», из эпохи Пугачевщины, и в своих поэмах—«Сашка», «Сказка для детей».

Лермонтовский Вадим—родной брат пушкинскому Дубровскому. Они оба страстные враги столичной знати.

Блиставший в высшем свете граф Сологуб, этот «вертопрах и хвастун», смотревший на мир глазами «высшего круга», пишет по заказу великой княгини Марии Николаевны повесть «Большой свет», где выводит Лермонтова под видом Леонина, а его знатного друга Столыпина—«Монго»—под видом дэнди Сафьева.

«Леонин (Лермонтов) в свете ничего не значит».

Один из великосветских героев романа говорит бабушке Леонина: «Он не что иное как маленький Леонин, офицерик из армии, довольно бедный, никому не родня, имя его—Леонин—похоже на водевильное и вовсе ничего не имеет аристократического, т. е. знатного, одним словом Миша ваш в свете менее нуля... Не имея состояния, ни родства, ни связей, ваш внук бросился в большой свет, втерся во все передние, кланялся всем нашим титулованным барыням, начал пренебрегать службой, наделал целую пропасть долгов, жил в вечной лихорадке» ¹.

В этом пошлом великосветском романе писатель-дэнди со злобным комильфотным пренебрежением говорит о высокоталантливом представителе обедневшего дворянского рода.

¹ Полн. собр. соч. М. Лермонтова, изд. Акад. наук, т. 5, стр. VIII

Знать чувствовала и в Пушкине и в Лермонтове своих врагов-обличителей, ненавидела их стих, «облитый горечью и злостью».

Мы знаем, что в 1837 году, в день убийства А. С. Пушкина, М. Лермонтов разразился негодующими строками, брошенными в лицо светской черни:

... а вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счаствия обиженных родов.

И Пушкин и Лермонтов создали целую вереницу скиальцев, обломков, отщепенцев.

Л. Н. Толстой выступает через 15 лет после смерти Пушкина и через 11 лет после смерти Лермонтова, когда положение родовитой аристократии еще более ухудшилось, процесс упадка старых дворянских родов шел необычайно быстро.

К этому вели: неумение хозяйствовать, дробление поместья, разорительное хлебосольство, праздники, роскошная, не по средствам жизнь.

Вишневые и яблоневые сады переходили в руки высокочек из мещан, Колупаевых, Разуваевых, Лопахиных...

Уже юношей 19-ти лет в «Дневнике молодости», в записях 46—47 гг. по поводу Наказа Екатерины II Толстой бросает фразу: «Наша аристократия рода исчезает и уже почти исчезла по причине бедности, а бедность произошла оттого, что благородные стыдились заниматься торговлей».

С тех пор до смерти Л. Н. прошло 60 лет. Страна вступила на путь капиталистического развития. Феодально-помещичье хозяйство рушилось. С одной стороны шло обеднение, обнищание крестьян; все чаще и чаще вспыхивали бунты крепостных, до 1861 года; тянулся ряд голодных лет в деревнях Поволжья, в Орловской губ., по всей стране; грозно разливалось крестьянское движение в 1902 г.; крестьяне повсюду требовали «земли и воли», приближалась революция 1905 года с «иллюминацией» в усадьбах. А с другой стороны не по дням, а по часам шел распад дворянства, щло «оскуде-

ние», о котором писал Терпигорев-Атава еще в 80-х годах: «Нет такой силы, которая могла бы поднять падающий класс».

В 1907 году нововременец А. С. Суворин, опора трона, записывает в своем дневнике: «Дворяне столь же редки, как зубры в Беловежской пуще».

О разорении, деклассировании, вырождении дворян пишет в 90-е годы и И. Бунин, превращая свои рассказы из усадебного быта в «эпитафии». Чем ближе революция 905 года, тем чаще у этого захудалого помещика Воронежской губ., выгнанного из усадьбы «нуждой и горем», мы встречаем строки:

. . . пора сменить хозяев в нашей стороне . . .

. . . я жду веселых звуков топора,

Я жду, чтоб жизнь, пусть даже в грубой силе,

Вновь расцвела из праха на могиле . . .

6390

Весьма естественно, что барскому мировоззрению, унаследованной идеологии—ломка хозяйственных отношений в стране, изменение социальных отношений наносили удар за ударом.

Если Пушкин, смирившийся перед историческим процессом, перед «неколебимым» Медным Всадником, увидел нарождавшуюся буржуазию, перестал мечтать о восстановлении прав родовитого боярства и бросил в лицо придворным выскочкам: «Я—мещанин, я—мещанин», то Л. Толстой, ненавидевший буржуазию, говорил М. Горькому, выходцу из городского мещанства, прошедшему через городское дно: «Я—больше, чем вы—мужик и лучше чувствую по-мужицки».

На знаменитой картине И. Е. Репина Лев Толстой, шающий за сохой босиком по чернозему, как бы гордо провозглашает на весь мир: «Я—землероб, я—землероб».

Великий художник попал под перекрестный огонь обостренной борьбы классов. Эту резкую обостренность он болезненно ощутил еще в 1856 году, накануне реформ; в 80-е годы Толстой не раз жаловался на ил, который его засасывал, на песок, который его засыпал, на давящую тяжесть мертвящего прошлого. Десятилетие за десятилетием борьба классов, все более ожесточавшаяся, размывала наносный ил, сносила пески сыпучие унаследованные рас-

ЗИБЛИСТКА
ТУЛЬСКОГО Д. К. А.



вых, родовых и классовых возврений, весь тот уклад, который приучал чувствовать по-барски.

Автор «Детства», эпопеи «Война и мир» становится автором «Исповеди», «Власти тьмы» и все более и более подпадает под влияние мировоззрения крестьянского большинства.

К трудовому крестьянству всегда органически тянуло здоровую натуру Толстого, у которого не только «лицо как у мужика», но и мускулы его властно требовали физической, «мужичьей работы». Это влияние пересилило гипноз «людей своего круга».

Начинается борьба за новое мировоззрение, враждебное унаследованному укладу. Борьба против жены, представляющей интересы рода, интересы 28 человек детей и внуков, борьба против власти, церкви, класса, борьба против господствующего строя. Если Пушкина и Лермонтова ненавидели «надменные потомки известной подлостью прославленных отцов», то о графе Льве Толстом эти потомки говорили со скрежетом зубовным. Они проклинали его, отлучили от церкви, мечтали сгноить в Сузdalском монастыре, арестовывали и ссылали его приверженцев и последователей, калечили его произведения своей цензурой, запрещали их, забрасывали его гнусными угрожающими письмами.

В особенности они ополчились на него после известного его письма: «Не могу молчать», в котором он протестует против смертных казней, пишет, что хотел бы, чтобы «намыленная веревка захлестнула его старческую шею». Друг Л. Толстого, Н. В. Давыдов, в своих драгоценных «Записках из прошлого» вспоминает, как при нем автор этого потрясающего документа получил посылку; когда вскрыли защитный в коленкор ящичек, там оказалась веревка. Этот подарок посыпала барыня-аристократка с письмом, в котором предлагала Л. Толстому выполнить свое желание и повеситься на этой веревке... К письму был приложен адрес дамы из высшего круга.

Эта веревка стоила пули Данте, которую в 37 году направили Николай I, Бенкendorf, Долгоруков и другие высокопоставленные лица в своего ненавистного врага— А. С. Пушкина.

В 1902 году Л. Толстой был при смерти... Весь мир, за-таивши дыхание, прислушивался к замедленным ударам его сердца. А что делали представители знатной черни?..

Они пытались замолчать, «зачеркнуть» Толстого. В «Дневнике» А. Суворина, бывшего однодворца, верноподданного, создателя газеты «Чего изволите?», читаем в 1902 году: «31 янвarya отобрали подписку в магазине не выставлять портретов Толстого, а в Главн. Управл. по делам печати сказали, что портрет Толстого нельзя помещать ни в каком случае и никогда».

Как же относился к этому распоряжению А. Суворин?

Даже он не выдержал, даже он возмущен!

«Очевидно, эти парни рассчитывают на бессмертие. Действительно бессмертные дураки, ибо трудно предположить в будущем еще больших дураков. Когда Гоголь умер 50 лет тому назад, Тургенева посадили под арест за то, что он напечатал статью о Гоголе, назвав его гениальным писателем. Теперь Гоголь во всех учебных заведениях, и ему ставят памятники. Совсем не надо 50 лет, чтобы Толстой дождался памятника, а Сипягин позорного клейма на свой идиотский лоб. Неужели этот господин с кем-нибудь советуется, и ему поддакивают в этих глупых распоряжениях...» (стр. 81).

А. С. Суворин наивничал и делал вид, что министр Сипягин был каким-то исключением, идиотом, но крупный землевладелец и родовитый аристократ и придворный—Сипягин творил волю того класса, который был «жерновом наше» у многомиллионного трудового народа.

Верхи понимали, что «последнее помещичье слово» давно уже превратилось в творчество Толстого в анти-помещичье слово, кипевшее возмущением против режима господ и идеологии и хозяйства господ.

К этому возмущению пришел Л. Толстой в переходную эпоху, «когда все перевернулось и стало по-новому укладываться».

ваться».

Перевернулось и великолепное помещичье слово и по-новому стало звучать у Л. Толстого. Это поняла правительственная власть, это поняла официальная церковь, поддерживавшая власть, это поняла знатная чернь...

Этого не успел разглядеть в 1871 г. Ф. М. Достоевский. «Трагизм жизни Мопассана,—писал Л. Н. в 1894 году,—в том, что, находясь в самой ужасной по своей уродливости и безнравственности среде, он, силой своего таланта, того необыкновенного света, который был в нем, выбивался из мировоззрений этой среды, был уже близок к освобождению, дышал уже воздухом свободы, но, истратив на эту борьбу последние силы, не будучи в силах сделать одного, последнего усилия, погиб, не освободившись»¹.

Л. Толстой знал, что силой своего гения, своего морального протеста, «силой необыкновенного света», который был в нем, он сам преодолел мировоззрение своей среды и нанес ему сокрушительный удар, и это знали и правящие классы, это знали миллионы его читателей, знал весь мир.

58 лет кипела эта борьба с внутренним и внешним миром, с «высшим кругом», с «высшим светом», и, наконец, сломила силы яснополянского отшельника, когда он покинул усадьбу, где родился, жену, с которой жил 48 лет и от которой у него было 14 человек детей.

10 сентября 1927 года в Ясной Поляне на могиле Л. Толстого один крестьянин Орловской губ. говорил в своей речи: «Он родился барином, жил мужиком, умер путником».

От родовитого аристократа, комильфотного молодого человека в модном ширмеровском пальто, в белых перчатках и высоком цилиндре, от высокомерного барича, которого обучили говорить, думать и поступать по-французски, до старика-«путника» с «лицом мужика», идущего с котомкой за плечами, в лаптях, вместе с другими странниками по дороге в Оптину пустынь, или до старика, шагающего босиком по бархату черноземных полей—«дистанция огромного размера».

Здесь не водевиль с переодеванием, тут не замена барского аристократизма мужицким оправлением, модного пальто — мужицким армяком, здесь — трагедия перевоплощения, здесь вызов, брошенный в лицо вседовольным и всеблаженным людям и барам, здесь мучительный отказ от уна-

¹ Предисловие к соч. Г. Мопассана, XIX т., полное собр. соч. Толстого под ред. П. Бирюкова, стр. 226.

следованных привычек и взглядов, интересов и связей, тут разрыв с близкими и ближайшими, тут столкновение двух миров: яспополянского, усадебного и мужицкого.

Здесь победа черной избы, здесь замена барского, усадебного, помещичьего миросозерцания — крестьянским, здесь стремление жить, думать и чувствовать и умереть «по-мужицки».

И в последнем помещичьем слове, столь «великолепном» у Толстого, долго гордившегося тем, что он «писатель и аристократ», и в первом мужицком слове его, и в мучительных исканиях и метаниях последнего барина с его «десницей» и «шуйцей» была большая доля общечеловеческого, бунтарского, страстно-протестующего, того неугасимого, пламенного и «волнувшего до слез», что жило и в эллинском Прометее, и в испанском Дон-Кихоте, и в германском Фаусте, и в английском Манфреде. Этот вечный бунт беспрепятственных искателей новой истины против установившейся лжи, против застывшего, омертвевшего уклада, против велений окружающей среды, против вековых традиций и «заплечных афоризмов», против общепринятых авторитетов и кумиров всегда разгорается на грани борьбы двух миров — уходящего и грядущего — перед лицом смертельной схватки двух классов — господствующего и порабощенного.

Этот же бунт придавал особую остроту и волнующую значительность и пламенным мечтаниям величайшего художника XIX века о новой правде, и пламенным обличениям старой правды, которая стала теперь неправдой.

Ф. Достоевскому казалось, что нового слова еще не было, но это новое «мужицкое» слово и слово общечеловеческое уже звучали в творчестве Л. Толстого, призвав его к пересмотру и переучету всех ценностей, сказавшего тому усадебному миру, который сам же он нарисовал с такой простотой, сказавшего, как гоголевский Тарас Бульба красивцу сыну Андрию: «Я тебя породил, я тебя и убью».

Если хозяйственный кризис создает определенное настроение недовольства помещичьей жизнью, то само творчество дает возможность Л. Толстому постепенно осознать и оформить это недовольство. Заострению вопроса помо-

гают индивидуальные черты художника, явно выступающие уже в первых его «Дневниках» и первых пробах пера.

В статье мемуарного характера «Из воспоминаний Т. Л Сухотиной-Толстой» о том, как «мы с отцом решали земельный вопрос», дочь Л. Н., Татьяна Львовна, в характерном замечании бросает интересную мысль о внутреннем переломе своего отца:

«Только временные наслоения интересов: литературных, семейных, имущественных и других, мешали выбиться наружу во всей полноте его духовной сущности. Когда же таинственная внутренняя работа окончилась и наполнила всю его душу — она легко разбила эту корку и сбросила ее с себя»¹.

Конечно, в индивидуальности Толстого, в его «огнедышащем» темпераменте, в его характере, в его «физиологической натуре» были черты, которыми он резко отличался от представителей своей среды, от спутницы своей жизни Софьи Андреевны; не даром о них говорили: «земля и небо», «буря и тишина».

Но необыкновенная чуткость и предвидение помогли ему покинуть унаследованную, внущенную, навеянную точку зрения и стать на иную отнюдь не с того момента, когда окончилась таинственная внутренняя работа, а с тех пор, когда с высоких вершин искусства он разглядел надвигающиеся результаты все более и более явной внешней работы социальных сил.

Индивидуальность Толстого лишь облегчила ему порвать с бытом, укладом, строем, идеологией господ, а работа социальных сил направила его индивидуальность, заставила его перейти от эпопеи старого барства, от поэтизации роскошной праздной жизни барского рода к преклонению перед «хлебным трудом» сермяжного крестьянского большинства.

Неразрывная связь с усадьбой, с деревней, с « властью земли» в течение трех четвертей века толкала мысль Толстого не в сторону городского пролетариата, а в сторону

¹ «Толстой и о Толстом»—новые материалы, изд. Толст. музея, сб. I, стр. 45.

подавленного, измученного, полуразоренного, полуголодного крестьянства, в сторону мужицкого мировоззрения.

Зародыши нового мировоззрения можно легко обнаружить уже в юношеские годы у Л. Толстого, но только после 79 года накопившиеся горестные «заметы» сердца проявились в «Исповеди», только после 79 года количество переходит в качество, и резко и явно вырисовываются два лика Толстого: Толстого—владельца унаследованной родовой усадьбы и Толстого—связавшего все свои помыслы с мужицкой избой.

Не один Толстой, но и многие выходцы из барских аристократических усадеб пережили крутой перелом в своей жизни: стоит вспомнить, с одной стороны, А. И. Герцена, Н. Огарева, М. Бакунина, князя П. Крапоткина, Софью Перовскую, Н. А. Некрасова, а с другой стороны—В. Г. Черткова, князя Хилкова и многих других.

Индивидуальность Толстого, его темперамент наложили печать на пережитый им перелом, на его творчество переходной эпохи, превратили это творчество в тот «цветок неповторимый», у которого своя окраска и свой аромат.

Этому неповторимому цветку, который расцветает раз в столетие и жадно впитывает могучие и буйные соки эпохи, овеянной бурями, мы посвящаем нашу книгу.

Ясная Поляна, январь 1928 года.